Пролог. Последний кадр

Телевизор в мотеле «Вечное Возвращение» дрожал рябью.

Трасса №66. Свет фар сквозь дождевую пелену. Каждые двенадцать секунд — заново: визг тормозов, треск металла, чёрная лужа бензина, в которой качалось моё лицо.

Лицо мертвеца.

Я щёлкаю кнопкой пульта — кассета перематывается назад, скрипит, заедает пленку.

Щёлк. Заново.

Щёлк. Заново.

Щёлк.

Запах горелой проводки и дешёвого освежителя с запахом вишни бьет в нос.

Ключ-карта с цифрой «13» болтается на пальце.

Я считал свои вдохи, чтобы не забыть — я ещё жив.

Стук в дверь ломает петлю.

Глухой голос просачивается сквозь щель, словно старый радиоприёмник хрипит внутри стены:

— Мистер Дэниелс? Пиццу заказывали?

Я знал, что не заказывал. Но если решу, что заказал — она станет реальностью.

Так работает Закон Наблюдателя.

Глава 1. Автостопом в никуда

Рюкзак давил на плечи, будто набит камнями, хотя внутри лежало всего три вещи:  
бутылка «Джима Бима» (полная),  
старый «Кольт» (незаряженный),  
письмо от отца, пропитанное дымом и безысходностью.

Я шёл уже третий день. Машины проносились мимо, словно я призрак, а не человек. Но это не удивляло. Вся моя жизнь была похожа на такие моменты — когда ты просто пешка на чужой доске, и кто-то двигает тебя, куда захочет.

Жизнь — игра, и я всегда проигрывал.

Не потому, что был слаб или глуп. Просто правила менялись, едва я думал, что их понял.

Жена ушла, когда я потерял работу.

Друзья исчезли, когда нечего было с ними пропить в пятницу.

Даже моя собака, чёрт возьми, сдохла в самый неподходящий момент — будто кто-то сверху решил: «Добавим ещё немного дерьма в жизнь, для баланса».

И вот я здесь. На шоссе, ведущем в Блэксберг. Город, которого нет.

*«Не вези его»*

Парень на «Мустанге» подобрал меня у заправки. От него пахло дешёвой травкой и страхом.

Мы тронулись. Асфальт за окном размазывался серой лентой, и в машине стало тихо — даже радио молчало. Я достал из кармана старую монету. Ее край был сточен, как у вещи, которая пережила больше чужих решений, чем должна.

Я подбросил её.

Орёл — говорю ему, куда едем.  
Решка — молчу, пусть рулит сам.

— Что это? — он смотрит на меня как на сумасшедшего.

— Проверяю мир на честность, — отвечаю. — Вдруг сегодня всё по-честному.

Монета упала на мою ладонь — орёл. Значит, едем. Я улыбнулся и ткнул пальцем вперёд:

— Блэксберг.

Парень сжал руль так, что костяшки побелели.

— Блэксберг? Серьёзно? — он фыркнул, глаза бегали, будто я назвал имя демона.

— Да. Есть дела.

— Там же... — он замолчал, когда радио вдруг захрипело.

Голос прошипел:  
*«...не вези его...»*

Я не испугался. Это было то, чего я ожидал.

Монета честно сказала «да». Мир — нет. Всё по плану.

— Вон. На хуй. Сейчас же, — парень резко свернул на обочину, пальцы дрожали.

Я вышел. «Мустанг» рванул прочь, оставив меня в пыли.

На ладони кто-то написал:

*«НЕ СМОТРИ В ЗЕРКАЛА»*.

Я усмехнулся.

Правила опять поменялись.

*Последняя остановка*

Дорога сужалась. Асфальт трескался, как старая киноплёнка. В воздухе пахло кислым — запахом неудач, которые ещё не случились.

И вот он.

Баннер: «Добро пожаловать в Блэксберг — место, где сбываются мечты!»

Кто-то дописал: *«...если мечтаешь сдохнуть»*.

Я засмеялся.

Это было идеальное резюме моей жизни.

Я достал письмо отца. Последние слова, прежде чем он сделал свой последний ход:

*«Сын, если ты это читаешь — значит, ты всё-таки вернёшься. Значит, Оно тебя позвало.»*

Я шагнул вперёд.

Поехали, игра.

Глава 2. «Шутка про Аллаха и школьный автобус»

«Если Аллаха нет, то почему Вселенная началась с Большого Взрыва?»

Эта дурацкая мысль пронеслась в голове, когда я стоял у ржавого автобусного столба на окраине Блэксберга. Мозг решил, что лучшая защита от надвигающегося кошмара — плоские шутки на грани богохульства. Я закусил губу, чувствуя, как знакомое ощущение — из детства — медленно заползает под кожу.

*1. Воспоминание: школьный автобус, 1979 год*

Автобус №7 пах старым сиденьем, жеваной резиной и чем-то кислым — то ли сгнившим яблоком, то ли потом водителя Билла, который вечно курил за рулём, пряча сигарету в рукав.

За окном проплывали мокрые осенние поля, покосившиеся дома, а дальше — лес, который в Блэксберге называли «Темник». Не потому что там было темно и страшно, а потому что там не было теней. Даже в самый ясный день.

Я сидел у окна и следил, как капли дождя ползут по стеклу.

И вдруг — оно.

То самое чувство.

Мрачная обречённость.

Как будто я уже знал, что всё кончится плохо. Что этот автобус везёт меня не домой, а куда-то дальше. В место, где нет возврата.

И самое странное — мне это нравилось.

Было приятно представлять, как мир медленно гниёт за этим стеклом. Как однажды я просто не выйду на своей остановке. Как автобус поедет дальше — в никуда.

*2. Вернуться в Блэксберг — значит вспомнить*

Я моргнул — и школьный автобус растворился.

Передо мной была та же дорога, те же поля, но теперь — в серых тонах настоящего.

Блэксберг встречал меня как всегда:

Заброшенная заправка с выцветшей вывеской «Gas’n’Gone» (кто-то дописал «Gone» поверх «Gas»).  
Старая лавка с заколоченными окнами — раньше там продавали сладости, теперь, говорят, хранят гробы.  
И запах. Не просто сырости, а чего-то тяжёлого — словно земля под городом не дышала годами.

Я потянулся к рюкзаку и нащупал бутылку «Джима Бима».

«Если Аллаха нет, то кто тогда смеётся над моими шутками?»

Я открутил крышку, но прежде чем сделать глоток — увидел его.

*3. Глаз на стене*

На кирпичной стене почтового отделения кто-то нарисовал граффити — огромный глаз.

Не просто глаз.

Мой глаз.

С точностью до последней кровинки, до едва заметной красной жилки в уголке — той самой, что появилась после ночи, когда я напился в стельку и плакал в подъезде.

Под рисунком было выведено:

*«ТЫ УЖЕ ВИДЕЛ ЭТО РАНЬШЕ»*.

Горло пересохло. Я судорожно глотнул виски, но комок в горле только сжался.

Нерешительность.

Она преследовала меня всю жизнь. В детстве я по полчаса выбирал конфету в магазине. В двадцать так и не уехал из города. В тридцать — не смог предотвратить тот вечер, когда всё пошло под откос.

И вот, глядя на свой глаз на стене, я снова колебался.

Выпить ещё?  
Развернуться и уйти?  
Разбить бутылку о стену?

Решение было привычным.

Я достал монету — ту самую, что подбрасывал в машине.

Решка — пью ещё.  
Орёл — ухожу.

Монета взмыла вверх, сверкнула в тусклом свете —

— и исчезла.

Не упала. Не закатилась в трещину.

Просто перестала существовать.

Я застыл, чувствуя, как воздух изменился.

Где-то вдали заскулила собака.

Но в Блэксберге собак не осталось.

По крайней мере, обычных.

Я посмотрел на стену.

Глаз будто стал больше.

Или мне показалось?

Из трещин вокруг рисунка вытекала ржавая вода — словно стена плакала.

— Добро пожаловать домой, ублюдок, — прошептал я, допил бутылку до дна и бросил её в глаз.

Стекло разлетелось о землю, и в тот же миг я услышал звук.

Не скулёж. Не вой.

Смех.

Глава 3. «Город, который дышит»

Смех был не просто за спиной — он шёл изнутри меня.

Тонкий, рваный, будто кто-то рвал лёгкие изнутри.

Я зажал рот ладонью. Пальцы пахли ржавчиной и сладкой прокисшей липкостью, как сироп из детства. Передо мной — стена с нарисованным глазом. Трещины в кирпичах пульсировали, словно дышали.

Блэксберг ждал.

Я сделал шаг.

Город встретил меня тем же запахом, что и двадцать лет назад: мокрый асфальт, подвальная сырость, ржавые водостоки. Но теперь в этом запахе чувствовалось что-то живое, тягучее. Казалось, город не стоял всё это время — он переваривал.

Главная улица сужалась по мере того, как я шёл. Дома не просто обветшали — они перекосились, будто кто-то растягивал их за углы. Окна смотрели косо, как глаза пьяницы. Трещины на тротуарах складывались в узоры — то ли руны, то ли следы когтей.

Правило второе: не смотри слишком долго.

Но я уже не мог отвести взгляд.

Магазин сладостей.

Вывеска «CLOSED» — свежая краска. За стеклом — движение.

Я подошёл ближе и увидел в витрине себя — тринадцатилетнего, в старой куртке с оборванной молнией. Отражение улыбнулось. Я улыбнулся в ответ. Оно подняло руку — я повторил. Ладонь к стеклу.

Холод пронзил до костей.

Витрина треснула, отражение рассыпалось в пыль. Внутри магазина пусто. Только один леденец на прилавке — красный, липкий, полурастаявший.

Я пошёл дальше.

Заправка. Бензоколонки будто новые. Цены на табло — 1987 год. Фонари светят, хотя лампы давно перегорели. Воздух густой, вязкий, как сироп.

И впереди — гостиница.

Мотель «Вечное Возвращение».

Его не должно быть здесь. Он остался на трассе.

Дверь скрипнула. Внутри пахло пылью, сладкой гнилью и старой плёнкой. Лобби пустое, только стойка и старый звонок. Я нажал.

Металлический звон резанул по нервам.

— Мистер Дэниелс?

Голос из темноты, хриплый, как радио на помехах.

Из тени вышла женщина. Лицо слишком гладкое, как пластиковая маска. Улыбка не двигала губы.

— Пиццу заказывали?

— Нет.

— А если решите, что заказывали? — наклонила голову. — Тогда она появится.

Она положила на стойку конверт. Жёлтый, как письма отца.

— Вам передали. От того, кто смотрит.

Я протянул руку — конверт исчез. Остался только запах дыма.

— Кто ты?..

Когда я поднял глаза, женщины уже не было.

Свет погас. Дыхание за спиной.

— Ты всё равно вернёшься, — голос отца.

Я сжал конверт — бумага хрустнула.

— Только не в зеркала, сын, — шёпот в ухо.

Я рванул к двери. Упал на мокрый асфальт. Мотель исчез. Пустая площадь заросла травой, треснувшие плиты хрустели под ногами, как рёбра мёртвого зверя.

Конверт остался в руке. На нём дрожащими буквами углём было выведено:

*«СМОТРИ В ЗЕРКАЛА, ЕСЛИ ХОЧЕШЬ УЗНАТЬ, КТО ТЫ»*.

Я поднял голову и увидел витрину аптеки. Моё отражение. Оно улыбалось слишком широко.

— Они помнят тебя.

Я обернулся. Миссис Грейди. Плед на плечах. Лицо восковое.

— Что с тобой случилось? — спросил я.

— Со мной? — её смех был похож на скрип несмазанных качелей. — Ты не туда смотришь, Дэниел. Смотри вокруг.

Я посмотрел по сторонам. Город дышал.

Дома вздымались и опадали, как грудь спящего зверя. Тени текли к дверям, люкам, разбитым витринам.

И над всем этим — не звук, а его отсутствие.

— Он просыпается, — сказала она. — Каждый раз, когда кто-то возвращается, он становится реальнее.

Скрип тормозов.

Школьный автобус. Седьмой маршрут.

— Беги, — лицо Грейди таяло. — Если сядешь в него сейчас, он увезёт тебя в тот Блэксберг. Тот, который…

Фраза оборвалась.

Автобус выкатился из переулка. Грязные стёкла, за ними — ничего. Ни домов, ни отражений.

Я посмотрел на миссис Грейди.

На мостовой осталась лишь лужица воска и старый школьный журнал.

Я поднял его.

На странице красными чернилами:

*«Правило третье: если ты слышишь своё имя ночью — это не ты»*.

Где-то заскулила собака.

Автобус замер. Ждал.

Я стоял посреди улицы и понимал:

Блэксберг не просто изменился.

Он ждал. Все эти годы.

И теперь, когда я вернулся, город начал просыпаться. По-настоящему.

Глава 4. Автобус №7. Обратный билет

Автобус замер, и тишина внутри стала густой, упругой, как желатин. Воздух застыл, застыли и пылинки, висящие в луче фар, пробивающемся сквозь грязное стекло.

Я не дышал. Ждал.

Скрежет механизма — не дверь, не двигатель. Скрежет времени. Он скрипел костями, перемалывая секунды в пыль.

Потом — первый звук.

Смех. Детский, высокий, знакомый до боли.

Я обернулся. Салон был пуст. Но на сиденьях лежали ранец с героями мультфильмов, скомканная кепка, откушенное яблоко. Следы жизни, которая только что здесь была.

За окном поплыл не пейзаж Блэксберга. Поплыли цвета. Ярко-зеленый, охряно-желтый, темно-синий, как в детской раскраске. Они смешивались, как акварель в воде, образуя формы.

Дом. Наш дом. С верандой, где всегда сквозило, и кривым почтовым ящиком, на котором я выцарапал свое имя.

Воздух в автобусе изменился. Пахло теперь свежескошенной травой и жаренным на кухне беконом.

Сердце заколотилось, не как у взрослого мужчины, загнанного в угол, а как у мальчишки, который знает, что сейчас получит взбучку, но не может не нестись сломя голову на этот запах.

Я посмотрел на свои руки. Они уменьшились. Кожа стала гладкой, ссадина на костяшке — свежей.

Зеркало водителя было чистым. В нем отражался я. Мне лет десять. В глазах — та самая мрачная обреченность, которую я тогда принимал за скуку.

Дверь автобуса с шипящим вздохом открылась.

Передо мной был наш двор. Я знал, что если шагну, окажусь там. В самой гуще того дня. Дня, который все изменил.

Правило, которого нет в записках, пронеслось в голове: нельзя войти в одно воспоминание дважды. Второй раз всё будет по-настоящему.

Я сделал шаг.

Жара ударила в лицо. Цикады трещали в кустах, будто наэлектризованные провода. Где-то кричал мой брат, Лео.

— Дэн! Иди сюда! Смотри, что я нашел!

Его голос был точь-в-точь как тогда — на полтона выше от возбуждения, в нем звенел металл любопытства, которое всегда доводило его до неприятностей.

Я побежал на звук. Ноги, короткие и быстрые, сами несли меня по знакомой дорожке.

Лео стоял у старого дуба, заложив руки за спину. Он был в своей любимой синей футболке с выцветшим роботом. Умные, слишком взрослые для его лица глаза блестели из-под очков.

— Ну что ты там нашел? Сокровище? — мой собственный голосок прозвучал для меня чужим.

— Лучше. Смотри.

Он выбросил вперед руку. В раскрытой ладони лежал странный камень. Идеально гладкий, черный, но с внутренним свечением, будто кусок ночного неба, упавший на землю.

— Он тяжелый, — сказал Лео, и его брови поползли вверх, как всегда, когда он был чем-то поражен. — Не по весу. Тяжелый вот тут. — Он ткнул себя в грудь.

Я потянулся было потрогать, но он резко сжал ладонь.

— Актиния, — сказал он таинственно. — Помнишь, в книжке? Кажется безобидной, а ты тронь — она жалит. Больно.

— Отдай, я посмотрю.

— Нет. Сначала теория. Надо понять, что это. Надо измерить.

Он уже поворачивался, чтобы бежать к дому, к своим журналам и карандашам, чтобы все зарисовать и разложить по полочкам. Лео всегда шел от разума.

А я — от чутья. Мне было все равно, что это. Мне было интересно, что оно делает.

— Лео, дай!

— Нет!

Я сделал то, что всегда делал лучше него — я схитрил. Резко указал за его спину:

— Смотри, папа едет!

Он обернулся. На секунду. Мне хватило, чтобы выхватить камень из его расслабленной ладони.

Холодок камня обжег кожу. И не просто холодок. Внутри головы что-то щелкнуло. Словно кто-то переключил канал.

И я это увидел.

Не глазами. Внутри. Вспышку.

Отца. Он стоит в мастерской. Но не чинит ничего. Он молотком с остервенением бьет по старому радиоприемнику. Искажает его. И он смеется. Хаотичный, разбитый смех.

Мать. Она на кухне. Вытирает одну тарелку. Десять раз. Двадцать. Ее движения идеальны, выверены до миллиметра. Ее лицо — маска спокойствия, но в глазах — паника дикого зверя в идеальной, чистой клетке.

Хаос и Порядок. Две силы, которые разрывали наш дом на части.

Я ахнул и уронил камень.

Лео поднял его, его лицо исказилось от обиды и любопытства.

— Что? Что ты увидел?

Я не мог объяснить. Я просто знал. Я почувствовал их. Ярче, чем когда-либо.

— Они... они там... — я показал на дом.

Лео нахмурился. Он ненавидел неопределенности.

— Кто? Что «они»? Говори толком!

— Они снова дерутся, — выдохнул я, и это была правда, но не вся. Я чувствовал их гнев, их отчаяние, их безумие как своё собственное.

Лео посмотрел на камень, потом на дом. В его умных глазах загорелся огонек не исследования, а страха.

— Надо спрятать. Пока они не увидели.

Мы побежали к дому, неся между собой эту крупицу ночного неба, эту актинию, ужалившую нас обоих, но по-разному. Его — заставившую искать ответы. Меня — заставившую чувствовать.

Мы еще не знали, что это и есть первый ключ. Что этот камень — осколок того самого «Оно». И что Блэксберг только начал свою работу с нами. С того дня.

Я обернулся на пороге. Школьный автобус №7 стоял на дороге, невидимый для всех, кроме меня. Его грязные стекла смотрели на меня, как слепые глаза.

Он ждал, когда я закончу вспоминать.

Он знал, что это только начало. Самое страшное — впереди.

Глава 5. Эквивалент обмена

Воздух в автобусе сгустился, стал тягучим, как патока. Видение нашего двора, отца с молотком и матери с тарелкой — все это дрогнуло и погасло, словно отключили питание. Краски мира сползли по стеклам, оставив после себя только серую, безжизненную мглу салона.

Я сидел на холодном сиденье, сжимая в кармане кулак. Внутри него лежал тот самый камень. Гладкий, холодный осколок ночи, который теперь жег ладонь не холодом, а памятью. Памятью о том, что я украл его у брата. Схитрил.

Скрежет. Двери автобуса с шипящим вздохом разъехались. За ними был уже не Блэксберг с пульсирующими трещинами. За ними была наша старая комната.

Комната, которую мы делили с Лео.

Я шагнул внутрь. Пахло пылью, старыми книгами и озоном от паяльника, которым Лео вечно что-то чинил. На столе громоздился его «Великий Проект» — радио из сломанных деталей, которое должно было, по его замыслу, ловить голоса из иных миров. Оно никогда не работало.

А на двухспальной кровати, подоконником уставившись в учебник по квантовой физике, сидел он. Лео. Мой брат. Не восковая кукла из автобуса, а живой, настоящий. Он водил пальцем по строчкам, шепча формулы. Его брови были сдвинуты в привычной концентрации.

— Лео, — хрипло выдохнул я.

Он поднял голову. Его умные, слишком взрослые глаза за стеклами очков сузились. Он смотрел на меня не как на призрака из будущего. Он смотрел как на младшего брата, который снова помешал.

— Дэн. Закрой дверь. Сквозняк.

— Лео, ты меня слышишь? Ты понимаешь, где мы?

— Мы в нашей комнате, — он сказал это с таким терпением, с каким объяснял мне теорему Пифагора. — И я пытаюсь работать. Уравнение не сходится. Не хватает переменной.

Он ткнул карандашом в испещренный формулами лист. Я подошел ближе. Это были не просто формулы. Это были те же символы, что я видел на стенах Блэксберга. Те же изломанные углы, те же пожирающие себя окружности.

— Это не сходится, потому что это не математика, Лео! — голос мой сорвался. — Это... это оно. Тот камень. Помнишь?

Я вытащил из кармана черный осколок и швырнул его на стол рядом с радио.

Лео вздрогнул, будто я бросил ему в лицо паука. Его уверенность на мгновение дрогнула, сменившись на чистый, животный страх. Тот самый, что я видел у дуба.

— Убери это, — прошептал он.

— Нет! Посмотри на него! Он здесь! Он со мной! И мы там, в будущем, мы в аду из-за него! Из-за нас!

— Я сказал, убери! — он резко встал, опрокинув стул. Его лицо исказилось. Это была не злость. Это была паника гения, столкнувшегося с уравнением, которое не поддается логике. — Ты всегда так! Лезешь, куда не надо, портишь всё своей... своей удачей! Тебе всё дается просто, ты не думаешь! А я... я должен просчитать!

— Просчитать что?! — закричал я. — Как папа с мамой сходят с ума? Как этот город пожирает нас? Это нельзя просчитать, Лео! Это нужно чувствовать!

Мы стояли друг напротив друга, как два полюса. Разум и Интуиция. Порядок и Хаос. Как наши родители.

Лео тяжело дышал. Он провел рукой по лицу, смахнув невидимую пыль. Он снова пытался навести порядок в своем внутреннем мире, который я только что взорвал.

— Нет, — сказал он тише. — Всё можно просчитать. Всё имеет причину и следствие. Просто... просто нужен ключ. Нужна правильная переменная.

Он потянулся к грудному карману своей рубашки. Отстегнул пуговицу. Достал то, что заставило мое сердце остановиться.

Монету.

Не мою, сточенную, побывавшую в миллионе чужих рук. Его монету.

Она была идеально отполирована, сверкала неестественным серебряным блеском. На одной ее стороне был выгравирован сложный геометрический узор, на другой — гладкая, словно отполированная временем пустота.

— Я нашел ее в тот же день, — тихо сказал Лео, глядя на монету с благоговением и тоской. — После того, как ты убежал. Она лежала на том же месте, где был камень. Она... она дает ответы.

— Что? — я не понял.

— Она всегда падает правильной стороной. Всегда. Она знает. — Он посмотрел на меня, и в его глазах я увидел не гордость гения, а отчаянную зависимость. — Я спрашиваю ее. Всегда. Куда идти? Что делать? Как решить уравнение? Она никогда не ошибается.

Вот оно. Самое страшное откровение.

Его гениальность, его холодный рассудок, его вера в логику — всё это было построено на костыле. На магии. На такой же иррациональной вещи, как мой камень.

Его «Великие Проекты», его уверенность — всё это было лишь исполнением воли блестящего кружка металла. Он не был гением. Он был рабом. Рабом монеты, которая всегда подсказывала верные решения.

— Лео... — я попытался до него достучаться. — Это же тоже обман. Это не твои решения. Это...

— Это порядок! — перебил он меня, сжимая монету в кулаке. — Это закон! В хаосе этого дома, в безумии отца, в истериках матери... она была единственной, кто приносил порядок! Она никогда не врала!

В его голосе звучала такая неуверенность, такая детская мольба, что у меня сжалось горло. Он, всегда такой умный и превосходный, был всего лишь мальчиком, который боялся сделать шаг без подсказки.

Он подбросил монету. Она взмыла в воздух, вращаясь с идеальной, машинной точностью.

— Спросим у нее, что нам делать, — сказал Лео, не отрывая глаз от серебряной вспышки.

Монета замерла в высшей точке.

И в тот же миг комната содрогнулась. Стены поплыли, книги посыпались с полок. «Великое Радио» Лео рухнуло на пол, разбившись с треском.

Из всех динамиков, из всех приемников, из самой толщи воздуха вырвался нарастающий, металлический визг. Тот самый, что я слышал в мотеле. Голос искаженной реальности.

Монета так и не упала.

Она зависла в воздухе, дрожа, как стрелка намагниченного компаса.

А потом из ниоткуда донесся голос. Голос моего отца, но собранный из тысячи помех, склеенный воедино:

— *ЗАКОН НАБЛЮДАТЕЛЯ... ОШИБКА... НЕВЕРНЫЙ ВВОД... ОДИН ИЗ ВАС... ДОЛЖЕН БЫТЬ... ОБНУЛЕН...*

Лео застыл с широко раскрытыми глазами, глядя на свою зависшую монету — на свой сломанный компас, на своего предавшего его бога.

Впервые в жизни я увидел в его глазах не ум, не страх, не расчет.

Я увидел пустоту.

И понял, что его гениальность не просто не спасет нас.

Она нас и привела к этой пропасти.

Глава 6: «Правило четвертое: не ходи в Темник после звонка»

Я очнулся от удара капли дождя по переносице. Вторая попала в глаз, заставив вздрогнуть. Во рту стояло противное амбре рвоты и виски, горло саднило. Меня трясло. Я лежал в холодной, вязкой грязи на обочине, вцепившись пальцами в мокрую землю, как будто боялся, что меня унесёт ветром.

Автобус исчез. Исчезла комната. Исчезло всё, кроме противного, мелкого дождя и тяжёлых свинцовых туч.

Я поднялся, пошатываясь. Одежда промокла насквозь, рюкзак оттягивал плечи мертвым грузом.«Кольт» лежал на своём месте, холодный и бесполезный. Письмо отца… бумага расползлась, синие чернила потекли, превратив слова в бессмысленные синюшные реки. Осталось только одно — «вернёшься».

Я осмотрелся. Сердце ёкнуло. Я стоял у старой, покосившейся ограды. За ней — красно-кирпичное, трёхэтажное здание с выбитыми окнами. Моя школа. Та самая. Реальная, осязаемая, пахнущая мокрым кирпичом и забвением. Никаких пульсирующих стен, никаких говорящих теней. Только запустение и промозглая, тоскливая реальность.

Кошмар отступил. Остался лишь похмельный бред и леденящая душу ясность: я был здесь. По-настоящему.

Воспоминание накатило внезапно, не как сюрреалистичный провал, а как острый осколок стекла.

Младшие классы. Перемена. Мы с Лео стоим у этого самого забора, отделяющего школьный двор от тёмной опушки Темника. Одноклассники дразнят нас: «Братья-чудаки! Папа-псих, мама-тихоня!». Кто-то швыряет комок грязи. Точный бросок. Комок с хлюпом размазывается по линзе очков Лео. Он не злится. Он снимает очки, аккуратно протирает их подолом рубашки, его лицо спокойно.

«Они боятся, — говорит он мне, его голос тихий и чёткий. — Они не понимают, что лес — это просто лес. В нём нет теней, потому что свет падает под другим углом. Это можно просчитать».

Потом он указывает подбородком на стайку старшеклассников, курящих за углом: «Вот кто по-настоящему странный. Они делают вид, что не боятся, хотя боятся больше всех. Они ходят в Темник на спор. И всегда возвращаются… другими».

Из-за того самого угла школы послышался шаркающий шаг. Я вздрогнул, вынырнув из прошлого.

Из-за поворота вывалился мужик. Не призрак, не монстр. Самый что ни на есть реальный человек. Щёки в синих прожилках, глаза мутные, в линялой, грязной куртке. Я его помнил. Ещё с детства. Местный пропойца, которого все гоняли. Он постарел, обрюзг, но это был он.

— Ты чё тут, по-шному, шляешься? — его хриплый голос прорезал монотонный шум дождя. Он подошёл ближе, от него несло перегаром и немытым телом. — Город спалишь, бомжище. Или уже?

Он окинул меня презрительным взглядом, выжидающе протянул руку.

— Деньги есть? На опохмел.

Я молчал, глядя на него. На его реальные, потрескавшиеся губы, на грязь под ногтями.

— Я… я здешний, — наконец выдавил я.

— А я хуй с маслом, — он фыркнул. — Все тут здешние, пока не сдохнут. Давай денег, раз такой здешний.

Я полез в карман, сунул ему смятую купюру. Он жадно выхватил.

— Дэниелс, — сказал я. — Мой отец…

— Дэниелса? — Мужик скривился, припоминая. — Который с чердака прыгнул? А, помню. Ну и чё? Мне тебя жалеть?

Он повернулся, чтобы уйти. И тут во мне что-то сорвалось. Вся эта реальность, это грубое, бесчувственное бытие было хуже любого кошмара.

— Брат! — крикнул я ему вслед. — Мой брат, Лео! Очкарик! Ты должен помнить!

Мужик остановился. Обернулся. В его мутных глазах мелькнуло что-то похожее на интерес.

— Братик-то твой… — он чмокнул губами. — А, тот, которого собаки в Темнике обглодали. Да?

Воздух вылетел из моих лёгких, словно от удара. Мир не поплыл, не затрещал по швам. Он стал ещё твёрже, ещё чётче. Каждая капля дождя, каждая морщина на лице алкоголика врезалась в сознание с леденящей ясностью.

— Что? — прошептал я.

— Собаки, говорю. Бешеные, гады. Стая там сбилась. Его и прикончили. Кепку его потом у лесопилки нашли. Всю в кровище… — он равнодушно махнул рукой, как будто рассказывал о порезавшемся соседе.

Он что-то ещё говорил, но я уже не слышал. В висках стучало. Лео. Собаки. Темник. Это было слишком ужасно, чтобы быть выдумкой. Это была правда. Грубая, неприкрашенная, реальная правда, которую я всю жизнь вытеснял, заменяя мистическими кошмарами.

Я не помнил, как мужик ушёл. Я стоял, глядя на тёмную щель входа в Темник. Теперь он выглядел иначе. Не мистическим порталом, а местом преступления. Могилой.

Во мне проснулась не мистическая жажда ответов, а простое, человеческое, горькое желание. Найти хоть что-то. Клочок одежды. Кость. Чтобы было что похоронить. Чтобы положить конец.

Я шагнул за забор.

Лес встретил меня абсолютно реалистично. Ветки хлестали по лицу, под ногами хлюпала грязь, воздух был густым и спёртым, пах прелыми листьями, влажной гнилью и чем-то ещё… металлическим. Я шёл, цепляясь за деревья, не думая ни о каких законах наблюдателя. Я был охотником за реликвиями, могильщиком.

И я нашёл. Не сразу, но нашёл. У старой, полуразвалившейся лесопилки, в грязи, лежала кепка. Синяя, с выцветшим рисунком робота. Кепка Лео. Она была порвана, в засохших, бурых пятнах, из неё торчали клочья утеплителя.

Я поднял её. Руки дрожали. Это было оно. Доказательство. Я прижал её к лицу, но пахла она только грязью и смертью.

И тут я услышал лай. Сначала далёкий, потом ближе. Рык. Впереди, среди деревьев, мельтешили тени. Сердце заколотилось. Собаки. Те самые.

Я пополз на звук, сжимая в руке кепку. Я должен был увидеть. Должен был подтвердить самый страшный факт.

Я раздвинул ветки и увидел их. Не мистических гончих, а самых обычных, но оттого ещё более жутких собак. Тощих, облезлых, с выпирающими рёбрами и красными, воспалёнными глазами. Они метались вокруг чего-то тёмного на земле, рыча и ссорясь, вырывая друг у друга куски.

У меня подкосились ноги. Я упёрся рукой в дерево, готовый увидеть останки брата.

И тогда я разглядел.

Это была не туша. Не тело.

Собаки с яростью рвали и грызли старые, порванные магнитофонные кассеты. Обрывки коричневой плёнки путались у них в зубах. Они вырывали друг у друга страницы из школьных учебников, журналов, испещрённых формулами. Они пожирали обломки кассетного магнитофона, с хрустом перемалывая пластмассу и металл. Это был пир во время чумы, пир безумия, где едой служили воспоминания, материализованные в виде хлама.

Одна из собак, самая крупная, с выдранным клоком шкуры на боку, оторвалась от этого безумного пира и повернула ко мне голову. Из её пасти свисала длинная лента магнитофонной плёнки.

На ней, застывшим кадром, было лицо моего отца. Искажённое криком.

Собака не зарычала. Она издала звук. Нарезанный, склеенный из обрывков разных голосов, шипения и помех.

— *Не-смо-три-в-зер-ка-ла-а-а…*

Реальность, которую я так цепко пытался ухватить, треснула и разлетелась на осколки.

Я отшатнулся. Хаос, настоящий, первобытный хаос, обрушился на меня. Собаки подняли головы. Их красные глаза уставились на меня. Из их глоток вырывался не лай, а тот самый, знакомый до боли металлический визг, смешанный с детским смехом.

Я побежал. Я не помню, как. Ветки хлестали меня по лицу, я падал, поднимался и снова бежал, слыша за спиной топот и тот кошмарный, склеенный голос.

Я вывалился на опушку, упал в грязь, зарылся лицом в мокрую землю, пытаясь заглушить собственный стон.

Когда я поднял голову, отдышавшись, мой взгляд упал на землю передо мной.

На чистом, почти стерильном пятне грязи, словно её кто-то аккуратно положил, лежала монета.

Идеально отполированная, сверкающая неестественным серебряным блеском. Монета Лео.

Я медленно, как во сне, протянул руку и поднял её. Она была холодной. На одной стороне — сложный геометрический узор. Я перевернул её.

На другой стороне, гладкой, как отполированное временем стекло, я увидел своё собственное, искажённое ужасом отражение.

Монета была у меня в руках.

Что бы я ни решил, мир теперь должен был подчиниться.

Глава 7: Дом на Оук-стрит. Болезнь порядка

Я лежал в грязи на опушке Темника, сжимая в одной руке порванную, запачканную бурыми пятнами кепку Лео, а в другой — холодную, отполированную монету. В ушах еще стоял склеенный из помех голос собак, выкрикивающий обрывки правил. Реальность треснула, и сквозь трещину сочился хаос. Но теперь у меня в руке был ключ. Не ответ, а инструмент. Лео всегда верил, что монета дает правильный ответ. Но я начинал понимать: она просто дает тот ответ, который ты готов услышать. Который соответствует твоей воле.

Монета жгла ладонь ледяным холодом, но этот холод был знакомым. Таким же холодным был взгляд Лео, когда он объяснял мне квантовые законы. «Частица находится во всех состояниях сразу, пока за ней не наблюдают», — говорил он. Блэксберг был этой частицей. Городом-суперпозицией, где все версии реальности существовали одновременно. А я… я был тем самым наблюдателем, который своим взглядом заставлял ее коллапсировать в тот или иной кошмар.

Мне нужно было наблюдать осознанно. Целенаправленно. Не бежать от ужаса, а пройти сквозь него, чтобы понять механизм.

Я поднялся, отряхнул с колен влажную землю и вытащил монету. Я не стал ее подбрасывать. Вместо этого я зажал ее в кулаке, закрыл глаза и задал не вопрос, а команду, сформулированную на языке этого безумия:

— Покажи мне не правду. Покажи мне противоядие. Против моего хаоса.

Я не ждал, что она укажет направление. Но ладонь, в которой лежала монета, вдруг дернулась, как стрелка компаса, почувствовавшая север. Ощущение было физическим, почти осязаемым, будто чья-то рука взяла меня за запястье и повела.

Я пошел, подчиняясь этому толчку. Улицы Блэксберга снова плыли, менялись, но теперь я видел в этом не бессистемный ужас, а поток данных. Тени на стенах складывались в стрелки. Скрип вывесок звучал как подсказка. Монета вела меня, и я понимал — она вела не к Лео, а к чему-то, что могло бы уравновесить нашу общую болезнь. Его маниакальный Порядок и мой само разрушительный Хаос.

Так я оказался на Оук-стрит.

Воздух здесь был густым и неподвижным, как в стеклянной банке. Дома стояли ровными рядами, слишком чистые, слишком аккуратные, будто нарисованные рукой чертёжника, помешанного на перфекционизме. Резкий контраст с гниющей органичностью остального города. Это место было клиникой. Санаторием для реальности.

Мое шестое чувство, всегда предупреждавшее об опасности, здесь молчало. Его заглушала давящая, мёртвая тишина. Монета в моей руке будто налилась свинцовой тяжестью.

Дом №7 был самым правильным из всех. Безупречный белый забор. Я толкнул калитку, и тайный механизм щёлкнул с тихим, удовлетворённым звуком. Дверь открылась сама. Внутри пахло пылью и мятой — точь-в-точь как в детстве, в доме бабушки, где у каждой книги было свое место, а пылинка на полу считалась личным оскорблением.

В прихожей висел портрет. Семья Дэниелс: отец с напряжённой улыбкой, мать с потухшим взглядом, я — испуганный пацан, и Лео — смотрящий куда-то поверх объектива. Но вместо наших лиц — пустые, залитые бежевой краской пятна. Будто кто-то стёр нас ластиком.

— Это потому, что ты начал забывать, — раздался мягкий, безэмоциональный голос с кухни.

Женщина в красном платье сидела за столом и резала яблоко. Нож входил в сочную плоть беззвучно, не оставляя следов сока на лезвии.

— Забывать что? — спросил я, чувствуя, как по спине ползёт холод. Это был не страх, а узнавание. Глубокая, костная усталость от этого места.

— Себя. Нас. Что было настоящим, а что — нет. — Она отрезала идеальный ломтик и протянула мне. — Порядок требует жертв. В первую очередь — памяти.

— Кто вы?

— Твоя жена. Или нет. — Она улыбнулась, и в её улыбке не было тепла, только чистая, отполированная форма. — Зависит от того, во что ты решишь поверить. Здесь, в этом доме, вера — это инструмент. Как этот нож.

Я посмотрел на яблоко, на портрет с пустыми лицами, на эту женщину-манекен. Во мне поднялась волна отвращения к этой стерильной тюрьме. Это был Порядок, доведённый до абсурда, до уничтожения всего живого. Порядок, который был болезнью.

«Реши, во что верить».

Я сделал выбор. Я решил, что её не существует.

Она не исчезла со вспышкой. Она просто перестала быть в фокусе. Её черты поплыли, цвета одежды растворились в воздухе. Через секунду на стуле никого не было.

Но яблоко осталось. И идеальный ломтик лежал на столе. Реальность признала моё право на выбор, но напомнила, что у всего есть последствия.

Из открытой двери в подвал донёсся скрежет металла. Я спустился. Старик с седой гривой волос, Людвиг, копался в груде разобранных часовых механизмов.

— Порядок — это болезнь, — пробормотал он, не глядя на меня. — Но хаос — тоже. Ты пришёл лечиться или умирать?

— Я ищу брата.

— Лео? Он пытался всё просчитать. Сложить часы так, чтобы они шли вспять. — Лудвиг ткнул отвёрткой в хитросплетение шестерёнок. — Но время не линейно. Оно — петля. Мы все застряли между циклами.

Он поднял на меня глаза. Его зрачки были похожи на циферблаты без стрелок.

— Твой брат не мёртв. Он стал… наблюдателем. Тем, кто смотрит изнутри петель. Но чем дольше он там, тем меньше от него остаётся. Скоро и он станет пустым пятном.

Я понял. Этот дом был не просто местом. Это была ловушка для памяти. Клиника для тех, кто слишком сильно хотел порядка и законсервировал себя вместе со своим прошлым.

Мне нужно было бежать.

Выбираясь на улицу, я оглянулся. В окне дома №7 стояла та самая женщина в красном. Она не улыбалась. Она просто махала мне на прощание. А потом подняла руку и стёрла своё лицо пальцем, оставив гладкий, безликий овал.

Дверь захлопнулась с тихим, окончательным щелчком. Монета в моем кармане отдавала слабым, но упрямым теплом. Она снова вела.

Глава 8: «Колодец Без Дна»

Воздух на окраине Блэксберга был густым и неподвижным, словно город боялся потревожить это место. Под ногами хрустела потрескавшаяся глина, а асфальт заканчивался внезапно, как обрыв в никуда. И посреди этого ничто стоял он. Колодец. Не сказочный, с резным срубом, а груда битого кирпича, слепленного в уродливый цилиндр. Он был похож на склеп, возведённый небу в насмешку, и воздух над ним колыхался маревым жаром, будто изнутри пылал вечный двигатель.

Я сделал шаг, потом другой. Каждый звук — хруст глины, собственное дыхание — казался кощунством. Внутри не было ни воды, ни дна. Там плавала сама Ночь. Густая, маслянистая, бездонная, усеянная чужими, незнакомыми звёздами, которые складывались в узоры, отвергающие законы небесной механики. На рассыпающемся срубе кто-то вырезал тот самый скрипучий почерк, что являлся мне в видениях: *«Брось память. Узнай цену»*.

Вокруг, будто дары неведомым богам, валялись свидетельства чьих-то потерь. Детский плюшевый мишка с одной пуговицей-глазом, вторая торчала на нитке. Ржавые очки, до боли напоминавшие те, что носил Лео. Женская туфля на высоком каблуке, будто её хозяйка шагнула в небытие, не успев обуть вторую. Они не покрывались пылью забвения. Они выглядели свежими, только что оставленными, и от них исходила тонкая вибрация недавней, пронзительной боли.

Мои пальцы нащупали в кармане два ответа. Первый — сточенная монета, эхо миллиона чужих решений, соблазн простого выбора, который всегда ведёт в тупик. Второй — пробитое пулей старое фото. Мы с Лео, папа, мама. Все улыбаемся в объектив, не зная, что через мгновение кадра жизнь пойдёт под откос. Это не просто снимок. Это память о времени, когда боль ещё была острой и честной, как порез, а не превратилась в хроническую, гноящуюся болезнь, как весь Блэксберг.

Монета сулила удачу, но её удача была кривой, уродливой, всегда бьющей по руке, что её бросила. Фото было правдой. Горькой, неудобной, разрывающей душу на части, но единственно настоящей.

Я подбросил монету. Она взмыла в липкий, фиолетовый воздух, перевернулась раз, другой, сверкая тусклым металлом, и я поймал её, прихлопнув на тыльной стороне ладони. Не глядя, я знал — решка. «Храни», — прошептал я, сунув зазубренный кружок судьбы обратно в карман. Свою уродливую удачу я не отдам. Не сегодня.

Я подошёл вплотную к краю. Запахло озоном перед грозой, смешанным с пылью старых, навсегда закрытых книг. Я посмотрел на улыбающиеся лица. На отца, в чьих глазах ещё теплилась надежда, а не безумие. На мать, чья улыбка ещё не стала маской. На Лео, всё ещё верящего, что мир можно разложить по полочкам с помощью логики. На себя — маленького, глупого, не знающего цены тому, что он вот-вот потеряет.

Горло сжал спазм. Это был не просто кусок бумаги. Это был последний оплот. Последнее доказательство, что мы были счастливы. Что всё это не сон.

— Простите, — прохрипел я, и голос сорвался в беззвучный шепот.

Я разжал пальцы.

Фото полетело вниз, не переворачиваясь, застыв в своём вечном, лживом моменте счастья. Оно не упало. Не достигло дна. Оно коснулось поверхности той маслянистой ночи и растворилось, будто капля чёрных чернил в чернильнице, став частью вселенской, безразличной тьмы.

И тогда Вода — если это была вода — ответила.

Она не закипела. Она взорвалась. Но не звуком, не светом. Она взорвалась Тишиной. Абсолютной, всепоглощающей, вакуумом, вырвавшимся на свободу и вытолкнувшим из себя саму возможность звука. Ударная волна этой беззвучной бомбы отбросила меня назад, как щепку. Я ударился затылком о твёрдую глину, и мир на мгновение пропал, залитый белой болью.

Последнее, что запечатлело моё сознание, прежде чем погрузиться во тьму, — это небо над Блэксбергом. Оно погасло, сменив свой грязно-серый цвет на ядовитый, электрический фиолетовый. А силуэты домов на горизонте, все эти кривые, пожирающие друг друга строения, задышали. Медленно. Тяжко. Словно пробуждаясь от долгого сна. И в этом дыхании не было жизни. Был голод.

И где-то на грани слуха, прежде чем отключиться окончательно, я уловил скрипучий шёпот, исходивший отовсюду и ниоткуда сразу:

*«Цена принята. Входи, Наблюдатель. Стань частью узора»*.

Глава 9: «Три Лика и Безликий»

Сознание вернулось ко мне не резко, а медленно, как поднимающийся со дна пузырь. Я не открывал глаза. Я просто понял, что они уже открыты, но видят лишь одно — белизну. Совершенную, тотальную, выжженную. Ни пола под ногами, ни потолка над головой, ни стен вокруг. Только бесконечная, давящая на зрачки белизна, бесцветный цвет, поглощающий самую идею формы, звука и времени. Я парил в ней, как муха в молоке, и от этого захватывало дух и тошнило одновременно.

Передо мной, нарушая безжизненную геометрию, висели три экрана. Они не имели рамок и казались просто окнами в иные версии бытия. На каждом — версия меня. Окончательная.

Первый экран показывал Порядок. Я был в идеально сшитом костюме, который стягивал плечи, как смирительная рубашка. Я сидел за стеклянным столом в стерильном кабинете, за огромным окном которого простирался Блэксберг. Но город был не просто пуст. Он был заморожен, как макет, каждый дом, каждое дерево — неподвижно. Люди на улицах стояли, как восковые фигуры, с застывшими масками вместо лиц. Цена: вечное, бесчувственное наблюдение. Стать холодным богом музея собственной боли. Лео бы одобрил. Мысль заставила меня содрогнуться.

Второй экран извергал Хаос. Я стоял на самом краю крыши, с которой когда-то шагнул в пустоту мой отец. Ветер, пахнущий гарью и озоновым смрадом, рвал на мне одежду. Внизу, в чаше города, бушевал ад. Дома пылали кроваво-багровым пламенем, тени сходили с ума, сплетаясь в чудовищные клубки, небо трескалось, как гнилая ткань, обнажая кишащую пустоту за ним. И я смеялся. Громко, истерично, и в моём смехе был хруст ломающихся костей и вкус пепла. Цена: стать финальной искрой, что сожжёт всё дотла, включая саму себя.

Третий экран был хуже всего. На нём не было ничего. Ни меня, ни мира. Только ровный, безоттеночный, мёртвый серый цвет. И тишина. Не отсутствие звука, а его антипод, активная, давящая тишина, пронзительнее любого визга. Это было Небытие. Полное отречение. Отказ от игры, от боли, от памяти. Цена: всё. Абсолютно всё. И в этом была своя, ужасающая правда.

— Выбирай.

Голос был моим, но искажённым, пропущенным через помехи старого магнитофона, лишённым всяких эмоций. Он исходил отовсюду и ниоткуда, вибрируя в самой белизне.

Я смотрел на три финала. На три вида капитуляции. Система, Архитектор, Бог этого сумасшедшего дома — предлагала только это. Три предсказуемых, готовых сценария. Уйти в Логику, в Безумие или в Ничто. Это было её меню, и все блюда в нём были отравлены.

Отчаяние, холодное и острое, как лезвие, тронуло моё сердце. Руки сами собой сжались в кулаки. Я готов был кричать, но в этой белизне не было эха.

И тогда я увидел его. Случайно, краем глаза. В чёрном, пыльном, выключенном стекле четвёртого экрана, который висел чуть в стороне, будто его забыли убрать. Моё отражение. Не отредактированное, не идеальное, не безумное. Настоящее. Я. Уставший до костей. Измождённый. С трясущимися, не слушающимися руками, с морщинами у глаз, в которых жила, дышала и копошилась вся боль этого проклятого мира. В этих глазах не было готовых ответов. Только вопросы. И воля.

Это был не другой путь. Это был я. Единственный материал, из которого я мог что-то построить.

— Нет, — прошептал я, и мой настоящий голос, хриплый и живой, прозвучал в белизне как выстрел. — Я не выбираю из твоего меню.

Я повернулся к этим трём пародиям на спасение спиной. Я отвернулся от Порядка, от Хаоса, от Ничто. Я повернулся к самому себе, к тому, что видел в чёрном стекле.

— Я играю по своим правилам, — сказал я уже громче, обращаясь к белизне, к системе, к самому себе.

И Белая Комната среагировала.

Она не просто затрещала. Она взвыла. Белизна, которая казалась вечной и незыблемой, пошла чёрными, извилистыми трещинами, будто по фарфору бьёт невидимый молот. Эти трещины расползались, сливались, образуя паутину абсолютного отрицания. Стеклянный скрежет заполнил всё, звук ломающейся геометрии. Пол, которого не было, ушёл из-под ног. Я не упал. Я провалился. Вниз, в тёмную, безвоздушную шахту между мирами, в то место, куда не ступала нога ни Порядка, ни Хаоса, куда даже Небытие боялось заглянуть.

Падение было бесконечным и мгновенным одновременно. И последней мыслью, пронесшейся в ошалевшем сознании, было:

*А правила... я придумаю по пути.*

Глава 10: «Камень и Монета»

Падение оборвалось так же внезапно, как и началось. Я не мягко приземлился, а грубо упёрся ногами в шершавые, голые доски. Знакомая комната. Наш с Лео старый дом. Но сейчас он был пуст. Выпотрошен до самого нутра. Ни мебели, ни обоев, ни следов жизни — только голые, кривые стены, с которых слезала последняя краска, и душащий запах пыли и одиночества. И я. Один в сердцевине мира, который когда-то был моим домом.

В одной руке, словно прикипев к ладони, я сжимал чёрный камень. Он был тяжёлым — не гравитацией, а смыслом, и пульсировал тёплым, живым холодом, от которого сводило судорогой пальцы и тянуло к тошноте. В другой руке, холодной и неподвижной, лежала монета Лео. Она не просто была ледяной — она была абсолютным нулём, точкой замерзания, идеально гладкой, отполированной до зеркального блеска чужими надеждами и моим отчаянием.

Из угла, где раньше стояла кровать Лео с застеленной до стерильности простынёй, выползла тень. Она не имела формы, постоянно перетекая из одного уродливого очертания в другое — то в отца с молотком, то в мать с тарелкой, то в силуэт школьного автобуса. Но я знал — это Оно. Тот, кто смотрит из щелей реальности. Архитектор этой проклятой петли. Смотритель нашего сумасшедшего дома.

— Ты не можешь уйти, — прошипела тень, и её голос был склеен из обрывков всех голосов, что преследовали меня: хрип отца, шёпот матери, скрип тормозов, детский смех. — Ты — ключевая переменная. Твоё наблюдение — питание. Твоя боль — фундамент. Ты — сердцевина яблока, в котором я зародился. Без твоего взгляда я — ничто. Но и ты без меня — тоже.

— Знаю, — хрипло сказал я, поднимаясь на ноги. Внутри всё сжалось в тугой, холодный комок решимости. — Поэтому я не ухожу. Я закрываю лавочку. Навсегда.

Я поднял руку с камнем. И он ответил мне. Он засветился изнутри не слепящим, а глубоким, багровым, почти чёрным светом, и через него во меня хлынуло ВСЁ. Вся боль матери, вытирающей одну тарелку до дыр, её тихое, методичное сумасшествие. Вся ярость отца, ломающего радио в тишине своей мастерской, его немой крик против мира. Весь свой детский ужас в ту ночь, когда Лео не вернулся, и я сидел у окна, чувствуя, как мир трескается. Весь хаос Блэксберга, все его гниющее нутро, все слёзы, весь страх, вся невысказанная ярость — всё это текло во мне, как моя собственная кровь, жгло изнутри, требовало выхода, уничтожения, освобождения.

Я поднял руку с монетой. Она была ему противоположностью. Она отразила багровый свет камня, но не поглотила его, а разложила на спектр, на холодные, бездушные формулы, на неумолимую логику системы. Я увидел паттерны. Все петли, в которые мы ходили, как лабораторные крысы. Алгоритмы горя, по которым был написан этот город. Весь порядок Блэксберга, вся его безупречная, мертвящая геометрия, все его правила и предсказания выстроились в моей голове, как окончательное, решающее уравнение. Уравнение тюрьмы.

— Ты не понимаешь, — сказала тень, и в её склеенном голосе впервые прозвучала трещина, настоящая, человеческая неуверенность. — Они несовместимы! Хаос и Порядок — это аннигиляция! Невозможно принять их одновременно, удержать в одной точке! Твое сознание не выдержит такого напряжения. Оно разорвётся на части, как бумага!

Я посмотрел на багровое сияние камня в одной руке и на холодный, геометрический свет монеты в другой. Я чувствовал, как во мне бушует огонь и лютый холод сковывает разум. Я видел, как трещит по швам моё собственное «я».

— Оно уже разорвано, — криво улыбнулся я, и в улыбке этой была вся горечь двадцати потерянных лет. — Давно. С самого начала. А знаешь, что получается, если склеить осколки? Мозаика. Новая картина.

И я, не дав себе передумать, не дав тени опомниться, изо всех сил соединил руки перед собой.

Камень и монета соприкоснулись.

Раздался звук, которого не может быть. Звук ломающегося фундаментального закона, треск позвоночника у самой реальности. Это был не грохот, а всепоглощающий Тихий Грохот, который выжег все другие звуки. Багровый хаос и серебряный порядок встретились не в борьбе, а в странном, немыслимом симбиозе, породив ослепительную, белоснежную вспышку. Она не была слепящей — она была всевидящей. Она поглотила комнату, тень, меня, само понятие пространства. Она была концом всех выборов.

И в последнее мгновение, перед тем как мысль угасла, я наконец-то понял правило, которого не было в списках.

*Чтобы победить систему, нужно перестать быть игроком. Нужно стать правилом.*

Глава 11: «Последний Кадр»

Я стоял в номере 13 мотеля «Вечное Возвращение». Всё было на своих местах с музейной, тошнотворной точностью. Пятно на потолке в форме Италии. Выцветшие занавески с бахромой, съеденной молью. Телевизор, хрипящий тем самым заезженным фрагментом плёнки. Воздух, густой от запаха дешёвого вишнёвого освежителя и чего-то глубже, древнее — запаха разложившегося времени, самой смерти.

Но теперь я видел не просто комнату. Я видел кулисы. Я видел швы. Тонкие, как паутина, тёмные линии, мерцающие на границе зрения, скреплявшие этот картонный мир. Я видел, как пыль ложится не случайно, а по невидимым лекалам, как тени под кроватью дышат в такт моему сердцебиению, как будто всё вокруг — лишь продолжение моего собственного нутра.

На экране — та же авария. Вечный танец смерти на асфальте. Моё лицо в чёрной, зеркальной луже бензина. Но теперь я видел дальше, глубже, в саму подноготную мига. Я видел, как это лицо, это последнее мгновение чистого, животного ужаса, стало семенем, из которого пророс кошмар под названием Блэксберг. Как последние двенадцать секунд моего сознания, вместо того чтобы угаснуть, растянулись, сплелись в петлю и стали плотью, камнем и памятью этого проклятого места. Я был не жертвой. Я был соавтором. Садовником, выращивавшим ад из зёрнышка собственной гибели.

Я подошёл к телевизору. От него исходила лёгкая вибрация, словно он был живым. Моё отражение в чёрном, пыльном стекле было искажённым, старым, чужим. В его глазах была не просто боль, а тяжесть всех прожитых в петле лет, укор и немой вопрос: «И сколько ещё?»

— Пора закругляться, — сказал я ему, и мой голос прозвучал чужим, но твёрдым и чётким, впервые за всё это бесконечное время.

Я снял рюкзак, этот саквояж с призраками, потяжелевший от воспоминаний и пустых бутылок. Я достал «Кольт». Тяжёлый, холодный, бесполезный кусок металла, который все эти годы был лишь бутафорией, символом выбора, который я не мог сделать. До сих пор.

Я не стал приставлять его к виску. Это было бы слишком личным. Слишком человечным жестом отчаяния, финальным аккордом в симфонии Хаоса. Это был бы побег, капитуляция перед одним из предложенных сценариев.

Вместо этого я приставил дуло к холодному, выпуклому экрану телевизора. Прямо к своему отражению в луже, к тому самому лицу мертвеца, с которого всё началось. К источнику. К корню болезни.

Я вдохнул. Воздух пах озоном и статикой.

— Система! — сказал я громко, обращаясь к пустоте, к стенам, к самому молекулярному строению этой реальности. — Я больше не Наблюдатель. Я больше не топливо для твоей вечной машины. Я больше не переменная в твоём уравнении.

Я прицелился в свой собственный, искажённый болью взгляд.

— Я — Палач. И я объявляю тебе приговор.

Глава 12: «Выстрел»

Я спустил курок.

Звука выстрела не было. Был звук лопающейся реальности.

Он начался с низкого частотного гула, который вывернул наизнанку само понятие тишины. Потом — хруст ломающегося стекла, но не хрупкого, а толстого, как лёд на глубине, смешавшийся с вечным визгом тормозов и треском металла. И сквозь это всё — та самая оглушительная тишина, что вырвалась из Колодца Без Дна, завершив симфонию распада.

Экран телевизора не разбился. Он не мог разбиться, ибо был не стеклом, а мембраной, границей. Он прогнулся, втянулся внутрь себя и превратился в Чёрную Дыру. Не метафорическую. Настоящую. Точку сингулярности, где обрывались все законы, все петли, все смыслы. Её гравитация была не физической, а метафизической — она втягивала в себя самую суть вещей.

Комната начала умирать. Занавески сорвало с карниза и утянуло в молчаливый водоворот, они закрутились, как ленты на прощание. Кровать с грохотом сложилась в странные, неевклидовы формы и исчезла в воронке. Ковёр с выцветшими узорами пополз по полу, и его краска потекла, словно кровь из раны, впитываясь в ничто. Сам воздух стал густым и тягучим, его засасывало в ту дыру, оставляя за собой вакуум.

Я стоял, не двигаясь, с дымящимся «Кольтом» в руке, ощущая его внезапную, невыносимую тяжесть — тяжесть сделанного выбора. Я смотрел в эту Чёрную Дыру и видел в ней не тьму, а другое отражение. Чище и яснее, чем в телевизоре. Себя — за рулём машины, в ту последнюю, настоящую ночь. Дождь хлестал по лобовому стеклу. Слепящий свет фар грузовика надвигался неумолимо. И моя рука, моя предательская рука, тянулась не к рулю, не к тормозу, не к спасению. Она тянулась к фотографии на торпедо. К той самой, что я только что принёс в жертву. Я тянулся к прошлому, цепляясь за призрак счастья, когда должен был бороться за будущее. В этом был весь я. Весь мой грех. Весь корень Блэксберга.

И я улыбнулся. Впервые по-настоящему. Без намёка на цинизм или сумасшествие. С бесконечным, вселенским облегчением. Я понял. Чтобы разомкнуть петлю, нужно не избежать выбора. Нужно принять его. Весь. Со всеми последствиями.

Петля замыкалась. Не вокруг меня, затягивая в очередной виток. Она замыкалась передо мной, как пройденный урок, предлагая последнюю, единственную дверь.

Я сделал шаг вперёд. Не в бегстве, а в принятии. Навстречу Чёрной Дыре. Навстречу последнему кадру. Навстречу тому парню в машине, который вот-вот совершит свою роковую ошибку.

В ушах стоял оглушительный, пронзительный звон, в котором тонули все звуки мира. Или это был скулёж тех самых собак из Темника, жующих плёнку с криком отца? Или нарезанный, искажённый смех Лео, доносящийся из салона автобуса №7?

Всё смешалось в один финальный, оглушающий аккорд бытия и небытия.

И погасло.

Эпилог: Наблюдатель

*СЦЕНА А*

Холодный белый свет, лишённый милосердия. Резкий, химический запах антисептика, не перебивающий, а подчёркивающий сладковатый дух тления. Монотонный, безучастный писк кардиомонитора, отбивающий такт для несуществующего сердца. Мужчина с лицом Дэниела лежит на больничной койке, его тело — просто органическая масса, опутанная проводами и трубками, вливающими в него иллюзию жизни. Его глаза закрыты. Дыхание ровное, машинное, слишком идеальное, чтобы быть настоящим.

— Безнадёжный случай, — голос врача за кадром усталый, привыкший к тому, что смерть всегда выигрывает. — Множественные травмы, несовместимые с жизнью. Клиническая смерть на месте, ещё до приезда «скорой». Но вот мозг... видите? — На экране компьютера прыгает энцефалограмма, вырисовывая один и тот же острый, судорожный пик. — Эти циклы. Ровно каждые двенадцать секунд. Он не жив. Но он и не мёртв в полном смысле. Он... застрял. В петле. Проигрывает свой последний момент снова и снова. Наблюдает за собственным финалом в режиме повтора.

Медсестра молча поправляет капельницу. Её рука на секунду задерживается на его холодной, восковой ладони. Жест, в котором нет надежды, лишь смутная, неосознанная жалость к тому, что застряло между мирами, в чистилище собственного сознания.

*СЦЕНА Б*

Рассвет над трассой №66. Воздух свеж и прозрачен после ночного дождя, пахнет мокрым асфальтом, полынью и обещанием нового дня. Эвакуатор с нудным, привычным рычанием зацепляет смятый в лепёшку седан, когда-то бывший машиной. Двое рабочих в потёртых оранжевых жилетах неспешно, с профессиональной отстранённостью возятся с тросами.

Один из них, коренастый мужчина с усталым, обветренным лицом, нагибается и поднимает с мокрого асфальта, с самого края обочины, чёрный, ржавый «Кольт». Оружие лежало там, будто его аккуратно положили, а не обронили в спешке.

— Странно, — бормочет он, поворачивая оружие в руках, разглядывая потёртую рукоять и сколы на воронёной стали. — Откуда он тут? В протоколе ничего не было. Никакого оружия не значится.

Его палец касается спускового крючка. На металле — свежая, не успевшая покрыться рыжей плёнкой царапина. След недавнего, решительного нажатия.

Камера медленно отъезжает, поднимается выше, отрываясь от земли, от этих мелких, суетливых деталей. Показывает вид с высоты птичьего полёта: пустынную, серую ленту трассы, уходящую вдаль, к горизонту, где уже поднимается солнце. Эвакуатор с искореженной машиной кажется игрушечным, ничтожным. И вот, в сотне метров от места аварии, на обочине, стоит мальчик в очках. Он не похож на случайного зеваку. Он смотрит не на дорогу, не на работу спасателей, а на клубящийся дым от выхлопной трубы эвакуатора, словно видит в нём нечто иное. Потом он поворачивается. Его взгляд, увеличенный стёклами очков, на секунду встречается с камерой, смотрящей с неба. Он не улыбается. Его лицо спокойно и пусто, как чистая страница. Он просто поднимает руку и медленно, почти ритуально, машет. Непростое движение — в нём и прощание, и приветствие, и передача эстафеты. Затем он разворачивается и идёт прочь, по краю асфальта, его силуэт становится меньше, расплывается, тает и окончательно растворяется в золотистом утреннем мареве, будто его и не было.

Телевизор в мотеле «Вечное Возвращение» дрожал рябью.

Трасса №66. Свет фар сквозь дождевую пелену. Каждые двенадцать секунд — заново: визг тормозов, треск металла, чёрная лужа бензина, в которой качалось моё лицо.

Лицо мертвеца.

Я щёлкаю кнопкой пульта — кассета перематывается назад, скрипит, заедает пленку.

Щёлк. Заново.

Щёлк. Заново.

Щёлк.